



СВЕТ МОЯ, СУДАРЫНЯ...

**В. Суриков. Фрагмент картины
«Боярыня Морозова».**

Недавно случилось мне, освобождая чулан от самого разного печатного хлама, который имеет свойство накапливаться и, как водится, кажется поначалу и очень важным и умным, а по прошествии времени вызывает лишь недоумение, обнаружить вздувшуюся от сырости январскую книжку журнала «Вопросы литературы» за 1969 год и, открыв её наугад, наткнуться на следующие писательские раздумья, принадлежащие Ефиму Дорошу:

«Илья Александрович Ковылин похоронен на Преображенском кладбище близ часовни, - прочитал я в «Раскольниках и острожниках» Ф. Ливанова, - писал Дорош. – Памятник над его могилой вытесан из дикого камня в форме гроба, на крыше которого изображён староверческий крест, а по сторонам надписи». «Четырёхтомное это издание привлекло меня, - продолжает он, - базарной грубостью, причём не только цветной обложки, стилизованной под ампиры, но и самого изложения, скандального и одновременно верноподданически злобного».

Прочитав о могиле умершего в 1809 году Ковылина, я вдруг решил посмотреть хотя бы место, где она была. Крепостной крестьянин, основавший раскольничий Федосеевский монастырь, именовавшийся Преображенским кладбищем, в течение тридцати восьми лет стоял во главе всех московских старообрядцев названного толка, знал со многими властью имущими людьми своего времени и был несомненно выдающейся личностью.

Я отправился на Преображенское кладбище... Передо мной была могила Ильи Алексеевича Ковылина, описанная Ливановым в 1872 году. Ограду её кто-то недавно покрасил масляной краской, а надписи на хорошо отмытом каменном надгробии навёл золотом.

Что-то потаённое угадывалось в этом, чья-то скрытая жизнь. Сколько надгробий иерархов официальной церкви видел я поверженными, а могилу этого мужицкого святителя кто-то продолжал почитать.

«В церкви патриарх, а в миру владыка мира» - говорил о Ковылине раскольник, принадлежавший к другой секте, что подтверждает беспристрастность его определения той мере власти, какую имел над своими единомышленниками бывший дворовый человек.

«Неужели же и полтора века спустя эта власть ещё распространяется на чьи-то покорные души!» - глядя на ухоженную могилу с горестным возмущением восклицал Дорош. Почему его привело в такое неистовство свидетельство верности – нет, не Ковылину, разумеется, - а той чуждой ему вере, которую исповедовал Ковылин, опрометчиво названную им покорностью? Ведь никто не предлагал ему её разделить. Может быть его раздражала самодостаточность этой веры и этой тайной жизни, сокрушала сама мысль, что он не может её контролировать? Нет, как

хотите, но тоскливое негодование Дороша, несомненно, ещё большая тайна, чем та, которую он пытался разгадать и не связаны ли они между собою?

Трудно судить — что за человек был Ковылин. Возможно, кто знает, какой-нибудь неизвестный ныне художник снимет дерзкой рукой покровы времени и откроет его душу, тайну характера и природу его власти над людьми. И встанет этот старообрядец живой перед нами, как встаёт Аввакум из своего жития, и увидим мы его так же ясно как боярыню Морозову, освобождённую из плена истории волей Василий Сурикова.

Вот уже сто лет как «четвёртая» боярыня государства, отвергшая по преданию брачное предложение Алексея Михайловича и тем самым отказавшаяся от царского титула властительницы над русской землёю, пережившая в разлуке смерть малолетнего сына и кончившая жизненный путь своей земляной тюрьмой, стала живой реальностью нашего бытия. Но и воскрешённая силой художественного гения к земной жизни мученица старообрядчества продолжает вызывать неприязнь подчас даже у людей, не жалеющих ни превосходных степеней, ни красок для описания своего восторга перед её художественным образом, созданным Суриковым. Глядя на картину с изображением духовного подвига, многие застенчиво умолкали, понимая, что достойно говорить о высших порывах можно только будучи с ними наравне. Зато другие — это, поистине, ужасно — чувствуя личную неспособность возвыситься до понимания значения изображенного характера, начинали ругать её чуть ли не последними словами.

Можно ли так любя творчество Сурикова, как в этом письменно и устно признаются, до такой степени не любить его любимый образ, не дорожить тем, что было дорого ему? Но нет, боярыню и теперь горячо осуждают, как будто мало она при жизни претерпела, как будто поставленная художником перед нашим внутренним взором и совестью, она и теперь мешает жить. Но ведь и вправду мешает. Ведь ее даже несчастной нельзя назвать как, к примеру, княжну Тараканову Флавицкого, ибо разве несчастен человек, познавший редкое между людьми счастье свободного осознанного выбора своей судьбы?

О, если бы она была несчастна, как мы были бы счастливы ее пожалеть, мы излили бы на неё все свои гуманные чувства, мы бы гневно возвысили голос и послали свои проклятия проклятому произволу, глумящемуся над правами человека, мы бы... Но она лишает нас этой радостной прекраснодушной возможности и поэтому не может быть прощена. И не только поэтому. Увидишь на картине эти горящие сумрачным огнем очи, весь её грозный пророческий облик, выражающий непоколебимую уверенность в неотвратимости грядущих бедствий лежащему во зле миру и станет не по себе. И в самом деле, как ворона на снегу. Ей бы о себе подумать, а она каркает. Себе уже накаркала. Теперь хочет накаркать и нам... Нет, голубушка, мы ни в чем не виноваты, наша совесть куда как чиста — не запутаешь! Пожалуй, и хорошо, что её увозят. Таким кликушам не место в приличном обществе порядочных людей.

Казалось бы, что нам за дело до какой-то боярыни? Мало ли их было — бояр на нашу шею. Но подвиг убеждений, доведенный до конца, не может не захватывать ум и сердце и не вызывать уважения. И всякий человек, имеющий убеждения и желающий чтобы их уважали, в глубине души своей испытывает пусть тайное, даже невольное уважение, ибо понимает, что лишь не имеющий своих убеждений, не уважает чужие. Впрочем, человек без убеждений даже и не понимает что значит уважать. Пресмыкаться, льстить, поддакивать — другое дело. И потому побеждает боярыня неведомой нездешней силой теснящуюся вокруг сочувствующую ей сиротеющую толпу, хоть толпа эта тоже состоит не из кого-нибудь, а, сразу видно, из добротного «человеческого фактора». Что ни человек — крупный цельный характер. С такими людьми можно строить и перестраивать, осваивать моря и земли, защищаться и побеждать. Как случилось, что такие люди оказались лишними в государственном строительстве? Кому и чему мешали их убеждения?

Едва ли найдется в русской истории такое общественное движение, которое до такой степени было оболгано, ошельмовано, оклеветано лак старообрядчество. К 1900 году насчитывалось уже свыше трех тысяч наименований книг, направленных против

старообрядцев, вся вина которых состояла в том, что они ещё существуют. Их обвиняли и объявляли врагами архипастыри, государственные деятели, учёные, судьи, не желающие признавать за ними права на свободу совести, представленного иноверческим религиям. А ведь первая кирха была построена в Москве ещё в 70-х годах XVI века. Вместо эпитимии или отлучения, как самого крайнего церковного наказания - преследования, гонения, плети, виселицы, расстрелы, сожжение в срубах, рассеяние по всему свету - и все это против людей, желающих одного: остаться верными вере и обрядам отцов. Став гонителем, официальная церковь утратила нравственное превосходство над гонимыми и всё что было в те времена в русском народе лучшего, честного, великодушного, всё встало во имя высших христианских идеалов на сторону протеста, становящегося совестью труждающихся и обременённых. И чем тяжелее становились их испытания, продолжительнее страдания, тем ниже падала не врачующая, а наносящая раны церковь, и тем выше вырастало значение духовной победы над насилием.

Возникнув как выражение верности святоотеческим преданиям древнего благочестия, старообрядчество становилось движением к новому нестяжательству, самоочищению и самообновлению, так что по справедливости было позволительно задать вопрос: кого же из противных сторон можно с большим основанием считать раскольниками? И не вышло ли в условиях перестройки духовной жизни страны из борьбы нового со старым старое обновленным, а новое состарившимся?

Идеология старообрядцев сыграла огромную роль во взрыве социальной активности всех без исключения слоев народа — от высшего боярства и духовенства до последнего нищего и юродивого, как это с гениальной силой художественного прозрения изображено Суриковым. Полное размежевание религиозных и политических вопросов в спорах о вере, когда утверждают, что споры были по существу не религиозными, а исключительно социально-политическими, не представляется оправданным, ибо в положениях собственно веры были заложены, начиная с момента возникновения христианства, освященные божественным авторитетом именно социально-политические установки, благодаря которым оно и стало мировой религией. «Кто не хочет трудиться, тот и не ешь» — писал в первом послании к Тимофею апостол Павел. Старообрядческие мятежи и выступления были борьбой не столько против существующих условий — старообрядцы были готовы нести любые государственные тяготы, признавая, что тело принадлежит и царю, — сколько за право жить никому не подражая, поскольку душа принадлежит только богу.

Несмотря на то, что такие убеждения считали утопическими, а, может быть, и вследствие своей утопичности они, в отличие от бывших когда-то во всех отношениях реальными гордых силой царств, захватывая воображение и оказывая влияние на умы, продолжают быть вполне материальной силой. И хотя высказывалась мысль, что любая попытка создания царства божьего на земле есть ересь, стремление жить по его законам признавалась благом и не затухало. Староверческое движение вопреки суждениям, неоднократно высказывавшимися в литературе, нельзя считать только жизнеотрицанием. Как мировоззрение оно содержит тесно связанные между собой и отрицание и утверждение. Проповедь Аввакума направлена не назад, а вперёд - на обличение судящего его несправедливого суда, мирской неправды. «Коли же кто, - писал Аввакум, - изволил богу служить, о себе ему не подобает тужить. Не только за имение святых книг, но и за мирскую правду подобает ему душа своя положить, якоже Златоуст за вдову и за Феогностов сад, а на Москве за опришнину Филипп». Божественным промыслом все люди созданы равными и нет большего зла, чем покушаться на законы всевышнего, воплощённые в равенстве друг другу трёх ипостасей Троицы. Это глубоко народная идея, питавшая старообрядческие выступления против насилия за социальную справедливость оправдывала и освящала их как движение по пути к божьей правде.

На уговоры князя Урусова подчиниться нововведениям боярыня Феодосия Прокопьевна отвечала: «...Никогда не пойду в ту церковь, в которой нет Христа; ибо может ли быть Христос там, где происходят адские казни!».

Изменение обрядов было, по мнению старообрядцев, вопиющим нарушением принципа непрерывности апостольского предания в церкви. Защищая свои религиозные убеждения, они выдвигали представлявшийся им исключительно важным довод, согласно которому коль скоро нововводимые обряды, начиная с крещения, вернее старых, то весь сонм русских святых за почти 700 лет православного христианства на Руси оказывался неправом веровавшим и молившимся и был не христианским, а языческим или еретическим, как и сами книги и иконы с изображенным на них двуперстием, по которым молились русские угодники и чудотворцы. И даже сам Никон, усмотревший «еретическое заблуждение» в книгах, выпущенных по благословению патриарха Иосифа, получивший рукоположение от «еретика», не может считаться ни митрополитом, ни патриархом, как и собор 1667 года, проклявший двуперсников, не может считаться собором, поскольку этим проклятием, наложенным на старообрядцев, он проклял и всех предков, молившихся двумя перстами. Кроме того, сравнительное изучение русских и греческих рукописных книг показало, что за этот период греческое богослужение под влиянием многих исторических обстоятельств существенно изменилось, в то время как русская православная церковь сохранила его в почти первоначально принятом виде. Это давало основания утверждать, что под видом исправления старой насаждается вера иная. Старообрядцы заявляли, что отступившись от старой веры, никониане с той же легкостью предадут и новую, ибо убеждения, меняющиеся по команде, ничего не стоят. И там, где дорвавшиеся до власти люди без убеждений гонят людей с убеждениями, где торжествует духовное насилие, никакое государственное строительство не может быть прочным, какими бы неотложными нуждами или возвышенными конечными идеалами оно не оправдывалось.

Уже в самом конце XIX века В. Ключевский, упрекая старообрядчество в непомерно преувеличенном значении церковных обрядов, в слепом поклонении букве, в неспособности возноситься духом над формой, исторически объяснял это тем, что в отличие от Востока — родины возникновения христианства, где шли от духа к букве, Русь, принявшая христианство от Византии, не могла идти иным путем как от буквы к духу и потому фетишизировала её. Однако старообрядчество возникло именно как обличение формального благочестия, ставшего настолько внешнеобрядным, что следование не только духу, но даже и букве стало необязательным. Раз прошлое, когда с буквой, с алфавитом отождествлялся язык, а с языком — народ, уже не обязывает, а формы обрядов и слова не имеют важного значения, то меняй их не меняй, а дела не поправишь. Современники, которые действительно всерьез относятся к словам нынешних планов, программ и уставов и берут на себя внутреннюю духовную обязанность, их выполнять, легко поймут, что расхождение между буквой и духом неизбежно приводит к разрыву между словом и делом, что выбор знаков и символов — проблема не случайного произвола, а глубин мировоззрения и потому споры и доводы трехсотлетней давности не покажутся им смехотворными.

Начиная с первого показа Суриковым картины «Боярыня Морозова» на XV передвижной выставке в 1887 году, многие из писавших о ней считали хорошим тоном подчеркнуть «непримиримые противоречия» между «возвышенным могучим порывом чувства» раскольников и «мелкой ничтожной идеей». Об этом «диссонансе» с досадой говорил В. Короленко, разбирая суриковскую картину: «Боярыня подымает два перста, — символ своей идеи... И только... Как мало, какая убогая бедная мысль для такого пламенного чувства; для такого подвига».

Кстати, об убожестве и бедности мысли. Обвинения в невежестве, косности и предрассудках всегда занимали не последнее место в борьбе идей. В этих грехах обвиняли первых раскольников и представители официальной церкви. Однако введение в научный оборот ранее неисследованных памятников, изучение новых источников убедительно показало, что в спорах о вере с раскольниками их идейные противники, как, впрочем, и многие

позднейшие исследователи, не раз поражались эрудиции, широте мышления и диалектике защитников старых обрядов, гибкости и динамизму староверия, еще при жизни своего идеолога Аввакума, разветвившегося на несколько направлений. А в литературоведении написанное им житие «Христовой воина» признано великим произведением нового Адама нового времени, духовная мощь которого дает ему возможность чувствовать себя равным целому миру, вмещать в себя «небо и землю и всю тварь». И боярыня Морозова и протопоп Аввакум боролись не за то, чтобы прослыть умниками, а чтобы вопреки всем испытаниям пронести живую душу.

Но и с душой у них, увы, оказывалось не все в порядке. В. Гаршин называл душу Морозовой «сильною, но темною». «Что же это за удивительная жертва, чему она приносится? — удивлялся Гаршин. — ...Не было живой жизни, широко раскрывшей бы перед Феодосией Прокопьевной свои объятия, куда бы она могла отдать свою деятельную любовь, страстность, энергию и самоотречение. Как в темном ящике, жили люди, создавая себе искусственный, призрачный мир привязанностей. Все они говорили о Христе, но под «Христом» подразумевалось только бессмысленное сложение перстов, да надобность «отбрасывать» тысячи поклонов и отмораживать свои ноги до того, чтобы они «по кирпичью стукали». Слабые лучи света новой жизни беспокоили этих мучеников для мученичества; они видели, что их призраки бледнеют... и они ненавидели этот свет, похищающий их сокровище». «Нас не могут более волновать те интересы, которые двести лет тому назад волновали эту бедную фанатичку, для нас существуют нынче уже совершенно иные вопросы, более широкие и глубокие... Мыжимаем плечами на странные «заблуждения...», на напрасные бесцельные мученичества...» - писал Стасов.

В чем состояли интересы «бедной фанатички»? В реальном осуществлении завета любить ближнего. Владелица «темной души», а кроме своей она обладала еще восемью тысячами также, по-видимому, «темных» крепостных душ, не отдалась «живой жизни», а приняв тайный постриг, начала раздавать свои богатства бедным, творить милостыню, шить рубахи для богаделен и тюрем, и в своей фанатичной преданности завету дожила, наконец, до того, что последним ее желанием в «темном ящике» была просьба к охранявшему стрельцу вымыть ей сорочку. «Воин моя водою малою это платно, лицо свое слезами омывал, жалеючи боярыню». Помощь ближнему, и не только ближнему, но и дальнему должна быть по справедливости признана самой главной целью и личной и общественной жизни любого человека, любого общества. Она необходимое условие сохранения нравственного здоровья и духовного домостроительства. Добротолубие, сострадание, милосердие нужны не столько страждущему, сколько благотворящему. При отсутствии развитых организационных форм социальной помощи, которая и создавалась то усилиями и личным примером таких людей, как Морозова, можно ли считать такой подвиг «странным заблуждением»? Ведь каждый творит добро по мере своей совести, разумения и возможностей, но он должен его творить. Отрицание положительного значения личной благотворительности стало впоследствии удобным поводом для людей, избегающих традиций добротолубия, без всяких нравственных усилий считать и чувствовать себя «передовыми и прогрессивными» по отношению к тем, кого угнетают «язвы человечества», не говоря уже о слезинке ребенка. Не обесмысливается ли, не теряет ли ценность сама жизнь с изощрением неутолимой жажды жизни?

Что и говорить, вопросов много. Но ответ на многие из них кроется в уроках именно этого гигантского раскола, ставшего прообразом и причиной бедствий сначала для людей старого, а затем и нового обряда, как отчасти и множества других уже внерелигиозных национальных расколов, повлекших бесчисленные жертвы. Может быть, есть вопросы и поважней. Однако, о чём написаны, о чём скорбят самые великие, самые глубокие творения русской литературы от «Слова о полку Игореве» до «Тихого Дона»? О расколах. Что может быть хуже раскола? Только мнимое единство. Но история, увы, не бывает хорошим учителем людей,жимающих плечами при виде чужих мучений. И не случайно люди, везшие в застенки боярыню Морозову, сами оказались в «Утре стрелецкой казни» привезенными в телегах к подножиям виселиц. Не случайно фигуру сопровождающего сани Морозовой стрельца Суриков

сливает с фигурой Урусовой. Обе они красного цвета. Вслед за оболганными старообрядцами наступили черед оклеветанных, попавших в положение государственных изменников и оттесненных от престола стрельцов. Кровь раскольников пала на их головы и воздалось им по делам их. Все это некоторые ученые люди, отделяя мораль как одну из движущих исторических сил от истории, называли почему-то «прогрессом», вся «прогрессивность» которого состояла в том, что он преследовал лишь одни «интересы», не знал ни жалости, ни милосердия. Вот уж, поистине «нас не надо жалеть, ведь и мы никого не жалели».

При внешней разногласии и столкновении мнений двух десятков газет и журналов различных направлений в оценке достоинств картины, прозвучавших сразу вслед за ее появлением, когда реакционная (по принятой терминологии) пресса ругала картину за сочувствие к старообрядцам, а демократическая хвалила за обличительство официального клерикализма и искала в ней намеки на осуждение разгула реакции и полицейского произвола, все периодические издания независимо от общественно-политических оттенков обнаружили удивительно дружное единство взглядов на само мировоззрение, которое с «бессмысленным упорством» продолжало отстаивать старообрядчество. В полемике, развернувшейся на страницах печати, старообрядцы, которых по данным частных исследователей насчитывалось в тогдашней России от 13-ти до 20-ти миллионов, не участвовали. Их к «диалогу» не приглашали. Но на их счет у многих из тех, которые думали за них, существовали тем не менее обширные планы.

Об одном из таких планов этого времени поведал уже после победы Октября в своей книге «За полвека» старейший участник революционного движения в России Лев Дейч. Согласно задуманному предполагалось, выбрав по собственному желанию каждого из членов революционного кружка, в который входил Дейч, ту или иную секту, поселиться в ней. «При этом, — пишет он, — нужно было действовать осторожно, искусно, ловко, словом, проявлять способности тонкого дипломата, являясь в своем роде Талейранами». Обнаружив совершенное знакомство со священными книгами, необходимое для того, чтобы устоять в спорах с начетчиками, пользующимися, как известно, у раскольников большим авторитетом, «создав себе, таким образом, «почетное положение» и приобретя сторонников и единомышленников, мы затем могли лицам, наиболее надежным, серьезным и дельным из этих сектантов, открыть наши истинные цели, задачи, стремления. А тех из них, которые оказались бы особенно развитыми и смышлёнными, нам следовало направлять, уже в качестве самостоятельных пропагандистов и агитаторов к другим, еще не затронутым социалистической пропагандой сектантам. Таким образом, в сравнительно короткое время, из нашего небольшого кружка могла бы развиться целая сеть кружков и групп, которые состояли бы частью из одних сектантов, а частью из них и уже ими распропагандированных православных крестьян. А там, смотришь, в короткий срок вся обширная российская равнина от одного ее края до другого, покрывается сознательными социалистами из трудящихся масс. Затем при том или ином соответствующем благоприятном стечении обстоятельств, по всей стране пронесется вихрь, который повалит весь современный никуда и ни на что не годный строй...».

Нетрудно понять, почему такие планы, в которых народ воспринимается пассивным объектом внешнего воздействия, не встретили сочувствия у тех, от имени и во имя которых они строились, и почему такое «хождение в народ» имело своими последствиями у некоторых составителей планов облагодетельствования человечества одни неприятные воспоминания, с которыми они не смогли смириться и спустя полвека. Вместе с тем и официальная власть продолжала враждебно относиться к старообрядцам и усилила преследования раскольников сразу вслед за ошеломительно победным явлением боярыни Морозовой народу в русской картине, сделавшей ее из мученицы национальной истории одним из величайших непреходящих художественных образов мировой культуры. Спустя три месяца в июне того же 1887 года созванный Синодом съезд противораскольнических миссионеров потребовал решительного подавления раскола, прекращения повсюду религиозных служб старообрядчества и в частности в центре его федосеевской общины — московском

Преображенском кладбище, где Суриков встретился с живыми прототипами героев своей картины. После второго съезда в 1891 году община была закрыта.

Помня с детства, что олицетворением исторической Морозовой явилась старообрядческая начетчица с Урала — Анастасия Михайловна, написанная Суриковым в садики московского Преображенского кладбища, и что она после трудных предшествующих исканий художника «сказкой русского лица» «всех победила» в картине, навек захватив народное сознание, движимый смутными чувствами и неясными думами о позднем стечении судеб боярыни и художника, сереньким июльским днем 1987 года я отправился на Преображенское кладбище. ...Передо мной была могила Ильи Алексеевича Ковылина, описанная Дорошем в 1969 году. Ограду ее кто-то недавно покрасил масляной краской, а надпись на хорошо отмытом каменном надгробии, как и 178 лет назад, гласила: «Смертный! Помни, что святая церковь или духовное христиан собрание есть одно тело, которого глава Христос. И что всякое несогласие между христианами — болезнь церкви, оскверняющая главу ее, так старайся убегать всех тех случаев, которые удобны к воспалению вражды и раздоров». Над могилой склонялись ветви безмолвных деревьев, а в законной темноте чугунной часовни горел огонь неугасимой лампы — свидетельство живого поминовения. Что-то потаенное угадывалось в этом, чья-то скрытая жизнь. Слава богу! — подумал я, — что за протекшие времена сохранились всё же могилы, недоступные мародёрам, что хоть здесь не надо призывать к охране исторической Памяти.

Но почему же надгробия многих иерархов официальной церкви оказались поверженными, а могилу мужицкого святителя продолжают почитать? Не воздаяние ли это за оправдание ими пролитой крови отверженных братьев? Верно, сбываются пророчества, по которым люди, вершащие неправые дела, сами носят в себе воздаяние, и, даже уйдя из жизни, без покаяния, найдут воздаяние в своих потомках. Видно не зря молвится, что могилы людей, поправших могилы, будут рано или поздно попораны их духовными преемниками, а дела их разрушены. Пренебрежение к давнему прошлому — как мы теперь ясно видим — создает почву для пренебрежения к недавнему, пренебрежение к досоветскому прошлому Родины — в источник пренебрежения к советской истории. Может, и могут быть две культуры, но мораль явно не может быть двойной. Известно, что кто не ценит чужого прошлого — не ценит и своего. Кто не уважает чужих подвижников и героев — не уважает и своих. Не имеющий своих заслуг — не уважает чужие и в гордости правоты, глумясь над чужим прошлым — глумится над своим посмертным будущим.

История русской мысли это спор о самых кровных вопросах бытия, спор о том, что считать правдой. Вера в очистительную силу правды не затухала во все времена, но то, что в ее неустанных поисках принималось за правду «какой бы она ни была» оказывалось правдой исторических обстоятельств, связанной с обожествлением истории, а правда — полная совершенная правда — снова была впереди. Среди искателей правды были и такие, которые утверждали, что лишь вера побеждает мир. И правда — не самоцель, а путь к спасению, ибо что значит правда без милости. Требуете правды, а ведь наступает и пора прощания. Разве это не правда? И что же такое сама жизнь — говорили они, как не затянувшееся прощание. Отсюда и печаль, и горечь в самые светлые и радостные мгновенья. Но народ, неизбежно прощаясь с частью своего бытия, никогда не отрекается от своего прошлого, а лишь переосмысливает его. «Боярыня Морозова» Сурикова — весь этот смех, плач, восклицания, проклятия, скрип полозьев — все многоголосие хора дорогой русской жизни на заснеженной улице и есть такое прощание, в котором люди, раскаиваясь, прощают друг другу, и которое предстоит заново пережить и осмыслить будущим поколениям.

Давно уже названа по-другому Долгоруковская улица, где была написана картина, и нет на этой улице церкви Николы, тающей в глубине холста, ни могилы прекрасной и непреклонной боярыни, на месте которой в 1986 году построили райком, ни Дороша, сердившегося из-за того, что не все происходит по предначертаньям «инженеров человеческих душ», и нас с тобой, любезный читатель, скоро-скоро не будет, быть может, потухнет и огонь

неугасимой лампы по-прежнему горящий в часовне, возвышающейся над могилой Ковылина, но никогда не опустится проплывающая над головами рука с двуперстием Морозовой, ушедшей в эту великую картину.



П. ЧУСОВИТИН.

2 октября 1987 года. МОСКОВСКИЙ ХУДОЖНИК